

VIII. Революция.

Суббота, 10 марта.

Тревожный вопрос о продовольствии рассматривался сегодня ночью в „экстренном заседании“ совета министров, на котором были все министры, кроме министра внутренних дел, председатель Государственного Совета, председатель Думы и петроградский городской голова. Протопопов не соблаговолил принять участие в этом совещании; он, без сомнения, советовался с призраком Распутина.

Множество жандармов, казаков и солдат по всему городу. Приблизительно до четырех часов пополудни манифестации не вызвали никакого беспорядка. Но скоро публика начала приходить в возбуждение. Пели Марсельезу, носили красные знамена, на которых было написано: „Долой правительство.... Долой Протопопова.... Долой войну.... Долой немку“ Немного позднее пяти часов на Невском произошли одна за другой несколько стычек. Были убиты три манифестанта и трое полицейских чиновников; насчитывают до сотни раненых.

Вечером спокойствие восстановлено. Я пользуюсь этим, чтоб пойти с женой моего секретаря, виконтессой дю-Альгуэ, послушать немного музыку в концерте Зилоти. По дороге мы поминутно встречаем патрули казаков.

Зал Мариинского театра почти пуст, не больше пятидесяти человек; много также неявившихся среди музыкантов. Мы выслушиваем, скорее претерпеваем первую симфонию молодого композитора Стравинского; произведение неровное, местами довольно сильное, но все эффекты которого пропадают в изысканности смелых диссонансов и сложности гармонических формул. Эти тонкости техники заинтересовали бы меня в другое время: сегодня вечером они меня раздражают. Очень кстати на сцене появляется затем скрипач Энеско. Окинув грустным взглядом пустой зал, он подходит к креслам, которые мы занимаем в углу оркестра, как будто бы собираясь играть для нас одних. Никогда удивительный виртуоз, достойный соперник Изаи и Крейсlera, не производил на меня более сильное впечатление своей игрой, простой и широкой, способной доходить до самых деликатных модуляций и самого бурного воодушевления. Фантазия Сен-Санса, которую он исполнял в заключение, — дивная по своему пламенному романтизму. После этого номера мы уходим.

Площадь Мариинского театра, обычно такая оживленная, имеет вид унылый; на ней стоит один только мой экипаж. Жандармский пост караулит мост на Мойке; войска сосредоточены перед Литовским замком.

Пораженная, как и я, этим зрелищем, г-жа дю-Альгуэ говорит мне:

— Мы, может быть, только-что видели последний вечер режима.

Воскресенье, 11 марта.

Сегодня ночью министры заседали до пяти часов утра. Протопопов соблаговолил присоединиться к своим коллегам; он доложил им об энергичных мерах, которые

он прописал для поддержания порядка „во что бы то ни стало“, вследствие чего генерал Хабалов, военный губернатор Петрограда, велел расклеить сегодня утром следующее объявление:

„Всякие скопища воспрещаются. Предупреждаю население, что возобновил войскам разрешение употребить для поддержания порядка оружие, ни пред чем не останавливаясь“.

Возвращаясь около часу ночи из министерства иностранных дел, я встречаю одного из корифеев кадетской партии, Василия Маклакова:

— Мы имеем теперь дело с крупным политическим движением. Все измучены настоящим режимом. Если император не даст стране скорых и широких реформ, волнение перейдет в восстание. А от восстания до революции один только шаг.

— Я вполне с вами согласен и я сильно боюсь, что Романовы нашли в Протопопове своего Полиньяка... Но если события будут развиваться скорым темпом, вам, наверное, придется играть в них роль. Я умоляю вас не забыть тогда об элементарных обязанностях, которые налагает на Россию война.

— Вы можете положиться на меня.

Несмотря на предупреждение военного губернатора, толпа становится все более шумной и агрессивной; она разрастается с каждым часом на Невском проспекте. Четыре или пять раз войска вынуждены были стрелять залпами, чтобы не быть стиснутыми; насчитывают десятки убитых.

К концу дня двое из моих агентов-информаторов, которых я послал в фабричные кварталы, докладывают мне, что беспощадная жестокость репрессии привела

в уныние рабочих, и они повторяют: „Довольно нам идти на убой на Невском проспекте“.

Но другой информатор сообщает мне, что один гвардейский полк, Волицкий, отказался стрелять. Это является новым элементом в положении и напоминает мне зловещее предупреждение 31 октября прошлого года.

Чтобы отдохнуть от всей работы и всей суеты, которые мне доставил этот день (потому что меня осаждала своими тревогами французская колония), я отправляюсь после обеда выпить чашку чаю у графини П., которая живет на улице Глинки. Расставаясь с ней около одиннадцати часов, я узнаю, что манифестации продолжают перед Казанским собором и у Гостиного двора. Поэтому, чтобы вернуться в посольство, я считаю благоразумным обогнуть по Фонтанке. Едва мой автомобиль выехал на набережную, как я замечаю ярко освещенный дом, перед которым дожидается длинный ряд экипажей. Это — вечер супруги князя Леона Радзивилла в полном разгаре; проезжая мимо, я узнаю автомобиль великого князя Бориса.

По словам Ренака де-Мелана, много веселились и в Париже 5 октября 1789 года.

Понедельник, 12 марта.

В пол-девятого утра, когда я кончал одеваться, я услышал странный и продолжительный гул, который шел как будто от Александровского моста. Смотрю: мост, обычно такой оживленный, пуст. Но почти тогда же на том конце, который находится на правом берегу Невы, показывается беспорядочная толпа с красными знаменами, между тем как с другой стороны спешит полк солдат. Так и кажется, что сейчас про-

изойдет столкновение. В действительности, обе массы сливаются в одну. Солдаты братаются с повстанцами.

Несколько минут спустя приходят мне сообщить, что гвардейский Волынский полк взбунтовался сегодня ночью, убил своих офицеров и обходил город, привлекая народ к революции, пытаясь увлечь оставшиеся верными войска.

В десять часов сильная перестрелка и зарево пожара приблизительно на Литейном проспекте, который находится в двух шагах от посольства. Затем тишина.

В сопровождении моего военного атташе, подполковника Лавернь, я отправляюсь посмотреть, что происходит. Испуганные обыватели бегут по всем улицам. На углу Литейного невообразимый беспорядок. Солдаты попеременно с народом строят баррикаду. Пламя вырывается из здания Окружного суда. С треском валятся двери арсенала. Вдруг треск пулемета прорезывает воздух; это регулярные войска только что заняли позицию со стороны Невского проспекта. Повстанцы отвечают. Я достаточно видел, чтобы не сомневаться больше на счет того, что готовится. Под градом пуль я возвращаюсь в посольство с Лавернь, который из кокетства спокойно и медленно прошел к самому опасному месту.

Около половины двенадцатого я отправляюсь в министерство иностранных дел, а по дороге захожу за Бьюкененом.

Я осведомляю Покровского о том, что я только-что видел.

— В таком случае, — говорит он, — это еще серьезнее, чем я думал.

Он сохраняет, однако, полное спокойствие, которое получает оттенок скептицизма, когда он излагает мне меры, на которые решились сегодня ночью министры:

— Сессия Думы отложена на апрель, и мы отправили императору телеграмму, умоляя его немедленно вернуться. За исключением г. Протопопова, мои коллеги и я полагали, что необходимо безотлагательно установить диктатуру, которую следовало бы вверить генералу, пользующемуся некоторым престижем в глазах армии, например, генералу Рузскому.

Я отвечаю, что, судя по тому, что я видел сегодня утром, верность армии уже слишком поколеблена, чтобы возлагать все надежды на спасение, на „сильную власть“, и что немедленное назначение министерства, внушающего доверие Думы, мне кажется более, чем когда-либо, необходимым; потому нельзя больше терять ни одного часа. Я напоминаю, что в 1789 г., в 1830 г., в 1848 г. три французские династии были свергнуты, потому что слишком поздно поняли смысл и силу направленного против них движения. Я добавляю, что в таких серьезных обстоятельствах, представитель союзной Франции имеет право подать императорскому правительству совет, касающийся внутренней политики.

Покровский нам отвечает, что он лично разделяет наше мнение, но что присутствие Протопопова в совете министров парализует всякое действие.

Я спрашиваю его:

— Неужели же нет никого, кто мог бы открыть императору глаза на это положение?

Он делает безнадежный жест:

— Император слеп!

Глубокое страдание изображается на лице этого честного человека, этого прекрасного гражданина, чью прямому сердцу, патриотизм и бескорыстие я никогда не в состоянии буду достаточно восхвалить.

Он предлагает нам опять придти в конце дня.

К моменту, когда я вернулся в посольство, положение много ухудшилось.

Мрачные известия приходят одно за другим. Окружный суд представляет из себя лишь огромный костер; арсенал на Литейном, дом министерства внутренних дел, дом военного губернатора, дом министра Двора, здание слишком знаменитой „Охранки“, около двадцати полицейских участков об'яты пламенем; тюрьмы открыты, и все арестованные освобождены; Петропавловская крепость осаждена; овладели Зимним дворцом, бой идет во всем городе.

В пол-седьмого я с Бьюкеном опять прихожу в министерство иностранных дел.

Покровский сообщает нам, что, в виду серьезности событий, совет министров берет на себя сместить Протопопова с поста министра внутренних дел и назначить „временным управляющим министерством“ генерала Макаренко. Он тотчас осведомил об этом императора; он, кроме того, умолял его немедленно облечь чрезвычайными полномочиями какого-нибудь генерала для принятия всех исключительных мер, которых требует положение, а именно назначения других министров.

Кроме того, он сообщает нам, что, несмотря на указ об отсрочке, Дума собралась сегодня после полудня в Таврическом дворце. Она образовала временный комитет, который должен взять на себя посредничество между правительством и восставшими войсками. Родзянко, председатель этого комитета, телеграфировал императору, что династия подвергается величайшей опасности и что малейшее промедление будет для нее роковым.

Совсем уже темно, когда мы, Бьюкенин и я, выходим из министерства иностранных дел; ни один фо-

нарь не горит. В тот момент, когда наш автомобиль выезжает с Миллионной перед Мраморным дворцом, нас задерживает какая-то свалка между солдатами. Происходит что-то непонятное у казарм Павловского полка. Солдаты в бешенстве кричат, воют, дерутся на площади. Мой экипаж окружен; против нас поднимается оглушительный крик. Тицетно мой егерь и мой шоффер стараются объяснить, что мы—послы Франции и Англии. Открывают портьеры. Наше положение становится опасным, когда какой-то унтер-офицер, верхом на лошади, узнает нас и громовым голосом предлагает „ура Франции и Англии“. Мы выходим из этой передраги под дождем приветствий.

Я употребляю вечер на то, чтоб попытаться получить кое-какие сведения о Думе. Затруднение велико, потому что всюду выстрелы и пожары.

Мне доставляют, наконец, кое-какие информации, которые согласуются между собой.

Дума, говорят мне, не щадит своих усилий для организации Временного Правительства, восстановления какого-нибудь порядка и обеспечения столицы продовольствием.

Такая скорая и полная измена армии является большим сюрпризом для вождей либеральных партий и даже для рабочей партии. В самом деле, она ставит перед умеренными депутатами, которые пытаются руководить народным движением (Родзянко, Милюков, Шингарев, Маклаков и пр.), вопрос о том, можно ли еще спасти династический режим. Страшный вопрос, потому что республиканская идея, пользующаяся симпатиями петроградских и московских рабочих, чужда общему духу страны, и невозможно предвидеть, как армии на фронте примут столичные события!

Вторник, 13 марта.

Стрельба, которая утихла сегодня утром, около десяти часов возобновляется; она, кажется, довольно сильна около Адмиралтейства. Бесперервно около посольства проносятся полным ходом автомобили с забронированными пулеметами, украшенные красными флагами. Новые пожары вспыхивают в нескольких местах в городе.

Чтоб не подвергаться инциденту в роде вчерашнего, я предпочитаю не пользоваться своим автомобилем для того, чтоб доехать до министерства иностранных дел; я отправляюсь туда пешком, в сопровождении моего егеря, верного Леонида, в штатском.

У Летнего сада я встречаю одного из эфиопов, которые караулили у двери императора, и который столько раз вводил меня в кабинет к императору. Милый негр тоже одел цивильное платье, и вид у него жалкий. Мы проходим вместе шагов двадцать; у него слезы на глазах. Я говорю ему несколько слов утешения и пожимаю ему руку. В то время, как он удаляется, я следую за ним опечаленным взглядом. В этом падении целой политической и социальной системы, он представляет для меня былую царскую пышность, живописный и великолепный церемониал, установленный некогда Елизаветой и Екатериной Великой, все обаяние, которое вызывали эти слова, отныне ничего не означающие: „русский Двор“.

Я опять встречаю Бьюкенена в вестибюле министерства. Покровский нам говорит:

— Совет министров непрерывно заседал всю ночь в Марининском дворце. Император не обманывается на счет серьезности положения, так как он облек генерала Иванова чрезвычайными полномочиями для восстано-

вления порядка; он, впрочем, повидимому, решил вновь завоевать свою столицу силой, не допуская ни на один миг идеи о переговорах с войсками, которые убили своих офицеров и водрузили красное знамя. Но я сомневаюсь, чтобы генерал Иванов, который вчера был в Могилеве, мог добраться до Петрограда: в руках повстанцев все железные дороги. Кроме того, если б ему удалось добраться, что мог бы он сделать? Все полки перешли на сторону Революции. Остается лишь несколько отдельных отрядов и некоторые полицейские войска, которые не оказывают еще сопротивления. Что касается моих коллег министров, большинство бежало, несколько арестованы. Мне самому сегодня ночью очень трудно было выбраться из Мариинского дворца... И теперь я жду своей участи.

Он говорит ровным голосом, таким простым, полным достоинства, спокойно-мужественным и твердым, который придает его симпатичному лицу отпечаток благородства. Чтобы вполне оценить его спокойствие, надо знать, что, пробыв очень долго генеральным контролером финансов империи, он не имеет ни малейшего личного состояния и обременен семейством.

— Вы только-что прошли по городу,—спрашивает он меня,—осталось у вас впечатление, что император может еще спасти свою корону?

— Может быть, потому что растерянность большая со всех сторон. Но надо было бы, чтобы император немедленно преклонился перед совершившимися фактами, назначив министрами временный комитет Думы и амнистировав мятежников. Я думаю даже, что, если бы он лично показался армии и народу, если бы он сам с паперти Казанского собора заявил, что для России начинается новая эра, его бы приветствовали... Но завтра

это было бы уже слишком поздно... Есть прекрасный стих Лукиана, который применим к началу всех революций: *Ruit irrevocabile vulgus*. Я повторял его себе сегодня ночью. В бурных условиях, какие мы сейчас переживаем, безвозвратное совершается быстро.

— Мы даже не знаем, где император. Он, должно быть, покинул Могилев вчера вечером или сегодня утром на рассвете. Что касается императрицы, я не имею о ней никаких известий. Невозможно снестись с Царским Селом.

При выходе из здания министерства, сэр Джордж Бьюкенен говорит мне:

— Вместо того, чтоб идти по Миллионной, пройдем лучше по Дворцовой набережной. Нам не надо будет тогда проходить у гвардейских казарм.

Но когда мы выходим на набережную, нас узнает группа студентов, которые нас приветствуют и провожают нас. Перед Мраморным дворцом толпа разрастается и приходит в возбуждение. К крикам „Да здравствует Франция“, „Да здравствует Англия“ неприятно применяются крики: „Да здравствует Интернационал“, „Да здравствует мир“.

На углу Суворовской площади Бьюкенен покидает меня, посоветовав мне вернуться в свое посольство, чтоб избежать толпы, которая слишком возбуждена. Но уже поздно; я хочу до завтрака отправить телеграмму в Париж и продолжаю свой путь.

У Летнего сада я совершенно окружен толпой, которая задерживает на ходу автомобиль с забронированными пулеметами и хочет меня посадить и отвезти в Таврический дворец. Студент-верзила, размахивая красным флагом, кричит мне в лицо на хорошем французском языке:

— Идите приветствовать русскую Революцию. Красное знамя отныне—флаг России; почтите его от имени Франции.

Он переводит эти слова по-русски. Они вызывают неистовое „ура“. Я отвечаю:

— Я не могу лучше почтить русскую свободу, как предложив вам крикнуть вместе со мной: „Да здравствует война“!

Он, конечно, остерегается перевести мои слова. Но вот мы, наконец, перед французским посольством. Не без некоторых усилий, при энергичном содействии моего егеря, мне удастся выбраться из толпы и войти к себе.

Революция идет своим логическим, неизбежным путем... *Ruit irrevocabile vulgus.*

Одно за другим доходят до меня известия об аресте князя Голицына, председателя совета министров, митрополита Питирима, Штюрмера, Добровольского, Протопопова и пр. Новые пожары бросают тут и там зловещие отблески. Петропавловская крепость сделалась главной квартирой повстанцев. Очень энергичная борьба завязалась вокруг Адмиралтейства, где нашли убежище военный министр, морской министр и несколько высокопоставленных сановников. В остальных частях города повстанцы ожесточенно преследуют „предателей“: полицейских и жандармов. Стрельба от времени до времени настолько усиливается на улицах, прилегающих к посольству, что мои дворники отказываются отнести мои телеграммы на центральный телеграф, который один только еще функционирует, и я вынужден обратиться к карте-метру французского флота, который находится в командировке в Петрограде и не боится пуль.

Около пяти часов, один высокопоставленный чиновник, К., сообщает мне, что комитет Думы старается образовать Временное Правительство, но что председатель Думы Родзянко, Гучков, Шульгин и Маклаков совершенно огорошены анархическими действиями армии.

— Не так,—добавляет мой информатор,—представляли они себе Революцию; они надеялись руководить ею, сдерживать армию. Теперь войска не признают никаких начальников и распространяют террор по всему городу.

Затем он неожиданно заявляет, что он пришел ко мне от председателя Думы Родзянко и спрашивает меня, не имею-ли передать ему какое-нибудь мнение или указание.

— В качестве посла Франции,—говорю я,—меня больше всего озабочивает война. Итак, я желаю, чтобы влияние Революции было, по возможности, ограничено и чтобы порядок был поскорей восстановлен. Не забывайте, что французская армия готовится к большому наступлению и что честь обязывает русскую армию сыграть при этом свою роль.

— В таком случае, вы полагаете, что следует сохранить императорский режим?

— Да, но в конституционной, а не самодержавной форме.

— Николай II не может больше царствовать, он никому больше не внушает доверия, он потерял всякий престиж. К тому же, он не согласился бы пожертвовать императрицей.

— Я допускаю, чтобы вы переменили царя; но сохранили царизм.

И я стараюсь ему доказать, что царизм самая основа России, внутренняя и незаменимая броня русского общества, наконец, единственная связь, объединяющая все разнообразные народы империи.

— Если бы царизм пал, будьте уверены, он увлек бы в своем падении русское здание.

Он уверяет меня, что и Родзянко, Гучков и Миллюков такого же мнения; что они энергично работают в этом направлении, но что элементы социалистические и анархические делают успехи с каждым часом.

— Это еще одна причина, — говорю я, — чтобы поспешить!

С наступлением вечера я решаюсь выйти со своим секретарем Шанбрэн, чтобы пойти сказать несколько слов ободрения знакомым дамам, которые живут по соседству и, я знаю, очень беспокоятся. После короткого визита к супруге князя Станислава Радзивилла и графине Роббен, мы решаемся вернуться к себе, так как, несмотря на мрак, каждое мгновение раздаются выстрелы и, проходя по Сергиевской, мы слышим свист пуль.

В этом дне, который полон столь важных событий и который, может быть, определит будущее России более, чем на столетие, я отмечаю эпизод, с первого взгляда ничтожный, но в сущности довольно характерный. Дом Кшесинской, расположенный в начале Каменноостровского проспекта, напротив Александровского парка, был сегодня разгромлен с верху до низу ворвавшимися в него повстанцами. Я припоминаю подробность, которая сбывает мне, почему народная ярость обратилась против этого жилища знаменитой балерины. Это было прошлой зимой; холод был страшный; термометр упал до 35°. Сэр Джордж Бьюкенен,

посольство которого отапливается при помощи „центральной системы“, не мог достать себе каменного угля, который является необходимым топливом при этой системе. Но днем, пользуясь тем, что небо было ясно и не было ветра, мы вышли погулять на Острова. В тот момент, когда свернули на Каменоостровский проспект, Бьюкенен воскликнул:

— О, это уже слишком!

И он показал мне у дома танцовщицы четыре военных повозки, нагруженные мешками угля, которые выгружал взвод солдат.

— Успокойтесь, сэр Джордж, — сказал я ему. — Вы не можете сослаться на те права, которые имеет Кшесинская, на заботы императорской власти.

Вероятно, годами многие тысячи русских делали аналогичные замечания по поводу милостей, которыми осыпали Кшесинскую. Мало-по-малу создалась легенда. Балерина, которую когда-то любил цесаревич, за которой с тех пор ухаживали одновременно два великих князя, сделалась своего рода символом императорской власти. На этот-то символ набросилась чернь. Революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

Среда, 14 марта.

Сегодня утром еще много боев и пожаров. Солдаты занимаются охотой на офицеров и жандармов, охотой жестокой, обнаруживающей все дикие инстинкты, скрытые в душе мужиков.

Среди царящей в Петрограде всеобщей анархии три руководящих органа стремятся организовать:

1. „Исполнительный Комитет Думы“ под председательством Родзянко, состоящий из двенадцати членов,

среди которых. Милюков, Шульгин, Коновалов, Керенский и Чхеидзе. В нем представлены, таким образом, все партии прогрессивной группы и крайней левой. Он старается немедленно осуществить необходимые реформы, чтобы спасти режим, провозгласив в случае надобности другого императора; но Таврический дворец переполнен повстанцами; Комитет, поэтому, заседает среди шума и под угрозами толпы.

2. „Совет Рабочих и Солдатских Депутатов“. Он заседает на Финляндском вокзале (?). Объявить социальную республику и положить конец войне — таковы его девизы и лозунги. Вожаки его уже объявляют членов Думы предателями Революции и открыто принимают по отношению к законному представительству позицию, которую занимала Парижская Коммуна по отношению к Законодательному Собранию в 1792 году.

3. „Главная квартира войск“. Она помещается в Петропавловской крепости. Составленная из нескольких младших офицеров, перешедших на сторону Революции, и нескольких унтер-офицеров и солдат, произведенных в офицеры, она старается внести немного порядка в дело снабжения продовольствием бойцов; она их снабжает продовольствием и снаряжением. Главное же она держит в зависимости Думу. Благодаря ей солдатня теперь всемогуща. Несколько батальонов, расположенных в крепости и по соседству с ней, представляют единственную организованную силу Петрограда; это — преторианцы Революции, такие же решительные, невежественные и фанатичные, как и знаменитые батальоны предместья Сент-Антуан и предместья Сен-Марель — все в том же 1792 году.

С тех пор, как началась русская революция, воспоминания из французской революции часто приходят

мне на память. Но дух обоих движений совершенно разный... По своему происхождению, по своим принципам, по своему характеру—социальному, еще больше чем политическому,—настоящий кризис имеет больше сходства с революцией 1848 года.

Император покинул Могилев вчера утром. Поезд направился в Бологое, расположенное на половине дороги между Москвой и Петроградом. Предполагают, что император хочет вернуться в Царское Село; во всяком случае, возникает еще вопрос, не думает-ли он доехать до Москвы, чтобы организовать там сопротивление революции.

Решительная роль, которую присвоила себе армия в настоящей фазе революции, только-что на моих глазах нашла подтверждение в зрелище трех полков, продефилировавших перед посольством по дороге в Таврический дворец. Они идут в полном порядке, с оркестром впереди. Во главе их несколько офицеров, с широкой красной кокардой на фуражке, с бантом из красных лент на плече, с красными нашивками на рукавах. Старое полковое знамя, покрытое иконами, окружено красными знаменами.

Великий князь Кирилл Владимирович объявил себя за Думу.

Он сделал больше. Забыв присягу в верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от императора, он пошел сегодня в четыре часа преклониться пред властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1-го ранга, отвел в Таврический дворец гвардейские экипажи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжение мятежной власти.

Немного спустя, старый Потемкинский дворец послужил рамой другой не менее грустной картины.

Группа офицеров и солдат, присланных гарнизоном Царского Села, пришла заявить о своем переходе на сторону революции.

Во главе шли казаки свиты, великолепные всадники, цвет казачества, надменный и привилегированный отбор императорской гвардии. Затем прошел полк его величества, священный легион, формируемый путем отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ царя и царицы. Затем прошел еще железнодорожный полк его величества, которому вверено сопровождение императорских поездов и охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкалось императорской дворцовой полицией: отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций и принимающие участие в повседневной жизни, в интимной и семейной жизни их властелинов.

И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают, как будто они торопились устремиться к новому рабству.

Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем, Людовик XVI не был их национальным государем, и, приветствуя его, они называли его „царь-батюшка“.

Вечером ко мне зашел осведомиться о положении граф С. Я. Между прочим, рассказываю об унижительном поведении царскосельского гарнизона в Таврическом дворце. Он сперва отказывается мне верить. Затем, после долгой паузы скорбного размышления, он продолжает:

— Да, то, что вы мне только-что рассказали, отвратительно. Гвардейские войска, которые принимали участие в этой манифестации, покрыли себя повором... Но вся вина, может быть, не их одних. В их постоянной службе при их величествах эти люди видели слишком много такого, чего они не должны были бы видеть; они слишком много знают о Распутине...

Как я писал вчера по поводу Кшесинской, революция всегда, в большей или меньшей степени, итог или санкция.

Около полуночи мне сообщают, что лидеры либеральных партий устроили сегодня вечером тайное совещание, без участия и ведома социалистов, чтобы сговориться на счет будущей формы правления. Они все оказались единодушными в своих заявлениях в том, что монархия должна быть сохранена, но что Николай, ответственный за настоящие несчастья, должен быть принесен в жертву для спасения России. Бывший председатель Думы, Александр Иванович Гучков, теперь член Государственного Совета, развил затем это мнение: „Чрезвычайно важно, чтобы Николай II не был свергнут насильственно. Только его добровольное отречение в пользу сына или брата могло бы обеспечить без больших потрясений прочное установление нового порядка. Добровольный отказ от престола Николая II—единственное средство спасти императорский режим и династию Романовых“. Этот тезис, который мне кажется очень правильный, был единодушно одобрен. В заключение либеральные лидеры решили, что Гучков и депутат националистической правой, Шульгин, немедленно отправятся к императору умолять его отречься в пользу сына.

Четверг, 15 марта.

Гучков и Шульгин выехали из Петрограда сегодня утром в 9 часов. При содействии инженера, заведующего эксплуатацией железной дороги, им удалось получить специальный поезд, не возбудив внимания социалистических комитетов.

Дисциплина мало-по-малу восстанавливается в войсках. В городе царит порядок; магазины робко открываются.

Исполнительный комитет Думы и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов сговорились на счет следующих пунктов:

1. Отречение императора.
2. Объявление цесаревича императором.
3. Регентство великого князя Михаила, брата императора;
4. Образование ответственного министерства.
5. Избрание Учредительного Собрания всеобщей подачей голосов.
6. Объявление равноправия национальностей.

Молодой депутат Керенский, создавший себе, как адвокат, репутацию на политических процессах, оказывается наиболее деятельным и наиболее решительным из организаторов нового режима. Его влияние на Совет велико. Это — человек, которого мы должны попытаться привлечь на нашу сторону. Он один способен втолковать Совету необходимость продолжения войны и сохранения союза. Поэтому я телеграфирую в Париж, чтоб посоветовать Бриану передать немедленно через Керенского воззвание французских социалистов, обращенное к патриотизму русских социалистов.

Но весь интерес дня сосредоточен на небольшом городе Пскове, на полпути между Петроградом и Двин-

ском. Именно там императорский поезд, не имея возможности добраться до Царского Села, остановился вчера, в 8 часов вечера.

Выехав из Могилева 13 марта в половине пятого утра, император решил отправиться в Царское Село, куда императрица умоляла его вернуться безотлагательно. Известия, посланные ему из Петрограда, ее беспокоили чрезмерно. Возможно, впрочем, что генерал Воейков скрыл от него часть истины. 14 марта, около трех часов утра, в то время, как локомотив императорского поезда набирал воду на станции Малая Вишера, генерал Цабель, начальник железнодорожного полка его величества, взялся разбудить императора, чтобы сообщить ему, что дорога в Петроград не свободна и что Царское Село находится во власти революционных войск. Выразив свое удивление и раздражение по поводу того, что его не осведомляли достаточно точно, император сказал:

— Москва остается верной мне. Едем в Москву.

Затем он прибавил со своей обычной апатией:

— Если Революция восторжествует, я охотно откажусь от престола. Я уеду в Ливадию; я обожаю цветы.

Но на станции Дно стало известно, что все московское население перешло на сторону Революции. Тогда император решил искать убежища среди своих войск в Главной Квартире северного фронта, главнокомандующим которого состоит генерал Рузский, во Пскове.

Императорский поезд прибыл в Псков вчера вечером, в восемь часов.

Генерал Рузский тотчас явился на совещание к императору и без труда доказал ему, что он должен

отречься. Он к тому же сослался на единодушное мнение генерала Алексеева и всех командующих армиями, которых он опросил по телеграфу.

Император поручил генералу Рузскому довести до сведения председателя Думы Родзянко свое намерение отказаться от престола.

Покровский сегодня утром сложил с себя функции министра иностранных дел; он сделал это с тем простым и спокойным достоинством, которое делает его столь симпатичным.

— Моя роль кончена, — сказал он мне. — Председатель совета министров и все мои коллеги арестованы или бежали. Вот уже три дня, как император не показывает признаков жизни. Наконец, генерал Иванов, который должен был привезти нам распоряжения его величества, не приезжает. При таких условиях я не имею возможности исполнять свои функции; итак, я расстаюсь с ними, оставив дела моему товарищу по административной части. Я избегаю, таким образом, измены моей присяге императору, так как я воздерживаюсь от всяких сношений с революционерами.

В течение сегодняшнего вечера лидеры Думы успели, наконец, образовать „Временное Правительство“ под председательством князя Львова, который берет портфель министра внутренних дел; остальные министры: военный — Гучков, иностранных дел — Милюков, финансов — Терещенко, юстиции — Керенский и пр.

Этот первый кабинет нового режима удалось образовать лишь после бесконечных споров и торгов с Советом. В самом деле, социалисты поняли, что русский пролетариат еще слишком не организован и невежествен, чтобы взять на себя ответственность официальной власти, но они пожелали оставить за собой тайное мо-

гущество. Поэтому они потребовали назначения Керенского министром юстиции, чтобы держать под надзором Временное Правительство.

Пятница, 16 марта.

Николай II отрекся от престола вчера, незадолго до полуночи.

Прибыв в Псков около 9 часов вечера, комиссары Думы, Гучков и Шульгин, встретили со стороны царя обычно для него приветливый и простой прием.

В полных достоинства словах и несколько дрожащим голосом Гучков изложил императору предмет своего визита; он закончил следующими словами:

— Только отречение вашего величества в пользу сына может еще спасти отечество и сохранить династию.

Самым спокойным тоном, как если бы дело шло о самой обыкновенной вещи, император ответил ему:

— Я вчера еще решил отречься. Но я не могу расстаться с моим сыном; это было бы выше моих сил; его здоровье слишком слабо; вы должны меня понять... Поэтому я отрекаюсь в пользу моего брата Михаила Александровича.

Гучков сейчас же преклонился перед доводами отцовской нежности, на которую ссылался царь. Шульгин тоже согласился.

Император прошел тогда с министром Двора в свой рабочий кабинет; вышел оттуда спустя десять минут, подписавши акт об отречении, который граф Фредерикс передал Гучкову.

Вот текст этого памятного акта:

„Божьей милостью Мы, Николай II, император всероссийский, царь польский, ве-

ликий князь финляндский и пр., и пр., и пр.—
объявляем всем нашим верноподданным:

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать на Россию новое тяжкое испытание.

Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны.

Судьбы России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага.

В эти решительные дни в жизни России, почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть.

Не желая расстаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие наше брату нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу.

Во имя горячо любимой родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним—повиновением Царю в тяжелую минуту всенародного испытания, и помочь Ему, вместе с представителями Народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

Николай“.

Прочитав этот акт, написанный на машинке на листе обыкновенной бумаги, делегаты Думы, очень взволнованные, едва в состоянии говорить, простились с Николаем II, который, попрежнему бесстрастный, любезно пожал им руки.

Как только они вышли из вагона, императорский поезд направился к Двинску, чтобы вернуться в Могилев.

История насчитывает мало событий столь торжественных, такого глубокого значения, такой огромной важности. Но из всех, зарегистрированных ею, есть ли хоть одно, которое произошло бы в такой простой, обыкновенной, прозаической форме и, в особенности, с подобной индифферентностью, с подобным ступешеванием главного героя?

Бессознательность ли это у императора?—Нет! Акт отречения, который он долго обдумывал, если не сам его редактировал, внушен самыми высокими чувствами, и общий тон царственно величествен. Но его моральная позиция в этой критической конъюнктуре оказывается вполне логичной, если допустить, как я уже неоднократно отмечал, что уже месяцы несчастный монарх чувствовал себя осужденным, что давно уже он внутренне принес эту жертву и примирился со своей участью.

Воцарение великого князя Михаила подняло бурю в Совете: „Не хотим Романовых,—кричали со всех сторон,—мы хотим Республику“.

Соглашение, с таким трудом достигнутое вчера между Исполнительным Комитетом Думы и Советом, на мгновение нарушилось. Но из страха перед неистовыми, господствующими на Финляндском вокзале и в крепости, представители Думы уступили. Делегация Исполнительного Комитета отправилась к великому князю Михаилу, который без малейшего сопротивления, согласился принять корону лишь в тот день, когда она будет ему предложена Учредительным Собранием. Может быть, он не согласился бы так легко, если бы его супруга, честолюбивая и ловкая графиня Брасова, была с ним, а не в Гатчине.

Отныне хозяин—Совет.

Впрочем, в городе начинается волнение. В полуденное время мне сообщают о многочисленных манифестациях против войны. Целые полки готовятся придти протестовать к французскому и английскому посольствам. В семь часов вечера Исполнительный Комитет считает долгом занять для охраны солдатами оба посольства. Тридцать два юнкера Пажеского корпуса приходят разместиться в моем посольстве.

Суббота, 17 марта.

Погода сегодня утром мрачная. Под большими темными и тяжелыми облаками падает снег такими частыми хлопьями и так медленно, что я не различаю больше парашета, окаймляющего в двадцати шагах от моих окон обледенелое русло Невы: можно подумать, что сейчас худшие дни зимы. Унылость пейзажа и вра-

жедность природы хорошо гармонируют с зловещей картиной событий.

Вот, по словам одного из присутствовавших, подробности совещания, в результате которого великий князь Михаил Александрович подписал вчера свое временное отречение.

Собрались в десять часов утра в доме князя Павла Путятина, № 12, по Миллионной.

Кроме великого князя и его секретаря Матвеева, присутствовали: князь Львов, Родзянко, Милюков, Некрасов, Керенский, Набоков, Шингарев и барон Нольде; к ним присоединились около половины десятого Гучков и Шувальгин, прямо прибывшие из Пскова.

Лишь только открылось совещание, Гучков и Милюков смело заявили, что Михаил Александрович не имеет права уклоняться от ответственности верховной власти.

Родзянко, Некрасов и Керенский заявили, напротив, что объявление нового царя разнуздает революционные страсти и повергнет Россию в страшный кризис; они приходили к выводу, что вопрос о монархии должен быть оставлен открытым до созыва Учредительного Собрания, которое самостоятельно решит его. Тезис этот защищался с такой силой и упорством, в особенности Керенским, что все присутствующие, кроме Гучкова и Милюкова, приняли его. С полным самоотвержением великий князь сам согласился с ним.

Гучков сделал тогда последнее усилие. Обращаясь лично к великому князю, взывая к его патриотизму и мужеству, он стал ему доказывать необходимость немедленно явить русскому народу живой образ народного вождя:

— Если вы боитесь, ваше высочество, немедленно возложить на себя бремя императорской короны, примите, по крайней мере, верховную власть в качестве „Регента империи на время, пока не занят трон“, или, что было бы еще более прекрасным, титулом в качестве „Прожектора народа“, как назывался Кромвель. В то же время вы могли бы дать народу торжественное обязательство сдать власть Учредительному Собранию, как только кончится война.

Эта прекрасная мысль, которая могла еще все спасти, вызвала у Керенского припадок бешенства, град ругательств и угроз, которые привели в ужас всех присутствовавших.

Среди этого всеобщего смятения великий князь встал и объявил, что ему нужно несколько мгновений подумать одному, и направился в соседнюю комнату. Но Керенский одним прыжком бросился к нему, как бы для того, чтобы перерезать ему дорогу:

— Обещайте мне, ваше высочество, не советоваться с вашей супругой.

Он тотчас подумал о честолюбивой графине Брасовой, имеющей безграничное влияние на мужа. Великий князь ответил, улыбаясь:

— Успокойтесь, Александр Федорович, моей супруги сейчас нет здесь; она осталась в Гатчине.

Через пять минут великий князь вернулся в салон. Очень спокойным голосом он объявил:

— Я решил отречься.

Керенский, торжествуя закричал:

— Ваше высочество, вы — благороднейший из людей!

Среди остальных присутствовавших, напротив, наступило мрачное молчание; даже те, которые наиболее энергично настаивали на отречении, как князь Львов

и Родзянко, казались удрученными только-что совершившимся, непоправимым. Гучков облегчил свою совесть последним протестом:

— Господа, вы ведете Россию к гибели; я не последую за вами на этом гибельном пути.

После этого Некрасов, Набоков и барон Нольде средактировали акт временного и условного отречения. Михаил Александрович несколько раз вмешивался в их работу и каждый раз для того, чтобы лучше подчеркнуть, что его отказ от императорской короны находится в зависимости от позднейшего решения русского народа, предоставленного Учредительным Собранием.

Наконец, он взял перо и подписал.

В продолжение всех этих долгих и тяжелых споров великий князь ни на мгновение не терял своего спокойствия и своего достоинства. До тех пор его соотечественники невысоко его ценили; его считали человеком слабого характера и ограниченного ума. В этот исторический момент он был трогателен по патриотизму, благородству и самоотвержению. Когда последние формальности были выполнены, делегаты Исполнительного Комитета не могли удержаться, чтобы не засвидетельствовать ему, какое он оставлял в них симпатичное и почтительное воспоминание. Керенский пожелал выразить общее чувство лапидарной фразой, сорвавшейся с его губ в театральном порыве:

— Ваше высочество! Вы великодушно доверили нам священный сосуд вашей власти. И клянусь вам, что мы передадим его Учредительному Собранию, не пролив из него ни одной капли.

Генерал Ефимович, который только-что в полдень приходил ко мне, принес мне кое-какие сведения о Царском Селе,

Императрица через великого князя Павла узнала вчера об отречении императора, о котором она не имела два дня никаких известий. Она воскликнула:

— Это невозможно... Это неправда... Еще одна гажетная утка... Я верю в бога и верю армии. Ни тот, ни другая не могли нас покинуть в такой серьезный момент.

Великий князь прочитал ей только-что опубликованный акт об отречении. Тогда она поняла и залилась слезами.

Временное Правительство скоро капитулировало перед требованиями социалистов. В самом деле, оно только-что согласилось на это унижительное постановление Совета:

Войска, принимавшие участие в революционном движении, не будут разоружены и останутся в Петрограде.

Таким образом, первым делом революционной армии было заставить обещать себе, что ее не пошлют больше на фронт, что она не будет больше сражаться. Какое позорное пятно на русской революции!.. И как не вспомнить, по контрасту, о добровольцах 1792 года! Впрочем, вид солдатни на улицах вызывает отвращение непристойностью, распущенностью, гнусностью. Благодаря своей скандальной требовательности, Совет составил себе страшную милицию, потому что гарнизон Петрограда и окрестностей (Царское Село, Петергоф, Красное Село и Гатчина) насчитывает не менее 170.000 человек.

Милоков вступил сегодня в управление министерством иностранных дел. Он пожелал немедленно видеть меня так же, как моих английского и итальянского коллег. Мы тотчас отправились по его приглашению.

Я нахожу его очень изменившимся, очень утомленным, постаревшим на десять лет. Дни и ночи, проведенные им в жаркой борьбе, без минуты отдыха, истощили его.

Я его спрашиваю:

— Прежде всего и прежде, чем вы заговорите официально языком, скажите мне откровенно, что вы думаете о положении?

В порыве искренности он отвечает:

— В двадцать четыре часа я перешел от полнейшего отчаяния к почти полной уверенности.

Затем мы говорим официально.

— Я еще не имею возможности, — говорю я, — заявить вам, что правительство республики признает режим, который вы установили; но я уверен, что предупреждаю только мои инструкции, уверяя вас в своей самой деятельной и самой сочувственной поддержке.

Горячо поблагодарив меня, он продолжает:

— Мы не хотели этой революции пред лицом неприятеля, я даже не предвидел ее: она произошла без нас, по вине, по преступной вине императорского режима. Все дело в том, чтобы спасти Россию, продолжая войну до конца, до победы. Но народные страсти так возбуждены и трудности положения так страшны, что мы должны немедленно дать большое удовлетворение народному сознанию.

В числе ближайших необходимых шагов он называет мне: арест большого числа министров, генералов, чиновников и пр.; объявление всеобщей амнистии, из которой, конечно, будут исключены слуги старого режима; уничтожение всех императорских эмблем; созыв в ближайшем будущем Учредительного Собрания, — одним

словом, все, что может рассеять у русского народа боязнь контр-революции

— В таком случае династия Романовых свергнута?

— Фактически—да, но юридически,—нет. Одно только Учредительное Собрание будет уполномочено изменить политический строй России.

— Но как вы выберете это Учредительное Собрание? Согласятся ли-солдаты, сражающиеся на фронте,—согласятся-ли они не голосовать?

В большом затруднении он признается:

— Мы вынуждены будем предоставить солдатам фронта право голоса..

— Вы дадите право голоса солдатам фронта... Но большинство их сражаются за тысячи верст от их деревень и не умеют ни читать, ни писать.

Милюков дает мне понять, что, в сущности, он со мной согласен, и сообщает мне, что он старается не давать никакого определенного обязательства на счет даты всеобщих выборов.

— Но,—прибавляет он,—социалисты требуют немедленных выборов. Они очень могущественны и положение их очень серьезно, очень серьезно.

Так как я настаиваю, чтобы он объяснил мне свои последние слова, он рассказывает мне, что, если порядок до некоторой степени восстановлен в Петрограде, то в Балтийском флоте и кронштадском гарнизоне восстание в полном разгаре.

Я спрашиваю Милюкова об официальном названии нового правительства.

— Это название,—заявляет он мне,—еще не установлено. Мы называемся в настоящее время Временным Правительством. Но под этим названием мы сосредоточиваем в своих руках все виды исполнительной

власти, в том числе и верховную власть; мы, следовательно, не ответственны перед Думой.

— В общем, вы получили власть от Революции?

— Нет, мы ее получили, наследовали от великого князя Михаила, который передал ее нам своим актом об отречении.

Эта юридическая попытка открывает мне, насколько у „умеренных“ нового режима—Родзянко, князя Львова, Гучкова, даже Милюкова—смущена совесть и встревожена душа при мысли о нарушении прав самодержавия. В глубине души, по нормальному закону революции, они уже чувствуют себя опереженными и с ужасом спрашивают себя, что будет с ними завтра.

У Милюкова такой усталый вид, и потеря голоса за последние дни делает для него разговор столь мучительным, что я вынужден сократить беседу. Все же перед тем, как расстаться с ним, я настаиваю на том, чтобы Временное Правительство не откладывало дальше торжественного заявления своей воли продолжать войну до конца и верности Союзу:

— Вы понимаете, что такое ясное заявление необходимо. Я, конечно, не сомневаюсь в ваших личных чувствах. Но направление русской политики отныне подчинено новым силам: надо их немедленно ориентировать.... У меня есть другой мотив желать, чтобы об упорном продолжении войны и сохранении союзов было громко заявлено. В самом деле, в германофильских придворных кругах, в камарилье Штюрмера и Протопопова, я неоднократно улавливал заднюю мысль, которая меня очень беспокоила; признавали, что император Николай не может заключить мира с Германией, пока русская территория не будет совершенно очищена, потому что он поклялся в этом на Евангелии и на

иконе Казанской божьей матери; но говорили между собой, что, если бы удалось довести императора до отречения в пользу цесаревича под регентством императрицы, его несчастная клятва не связывала бы его наследника. Ну, вот, я хотел бы быть уверен, что новая Россия считает себя связанной клятвой своего бывшего царя.

— Вы получите все гарантии в этом отношении.

Сегодня вечером публика очень мрачно настроена; она уже видит, как крайние пролетарские теории распространяются по всей России, дезорганизуют армию, разрушают национальное единство, распространяют повсюду анархию, голод и разрушение.

Увы, мой прогноз не менее мрачен! Ни один из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политическим кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, которых требует столь ужасное положение. Эти „октябристы“, „кадеты“ — сторонники конституционной монархии, люди серьезные, честные, благоразумные, бескорыстные. Они напоминают мне о том, чем были в июле 1830 г. все эти Моле, Одилонны, Парро и пр. А нужен был, по крайней мере, Дантон. Впрочем, на одного из них мне указывают, как на человека действия: это — молодой министр юстиции, Керенский, представитель „трудовой“ группы в Думе, которого Совет ввел в состав Временного Правительства.

И в самом деле, именно в Совете надо искать людей инициативы, энергичных и смелых. Разнообразные фракции партии социалистов-революционеров и партии социал-демократии: народники, трудовики, террористы, большевики, меньшевики, пораженцы и пр. не испытывают недостатка в людях, доказавших свою решительность и смелость в заговорах, в ссылке, в из-

гнании. Назову лишь. Чхейдзе, Церетелли, Зиновьева и Аксельрода. Вот настоящие герои начинающейся драмы!

Воскресенье, 18 марта.

Я еще ничего не знаю о впечатлении, которое произвела русская революция во Франции, но боюсь иллюзий, которые она там может породить, и слишком легко откладываю темы, которые она рискует доставить социалистической фразеологии. Я считаю поэтому благоразумным предостеречь свое правительство и телеграфирую Бриану:

„Прощаясь в прошлом месяце с г. Думером и генералом Кастельно, я просил их передать г. президенту республики и вам растущее беспокойство, которое вызывало во мне внутреннее положение империи; я прибавил, что было бы грубой ошибкой думать, что время работает за нас, по крайней мере, в России; я приходил к выводу, что мы должны по возможности ускорить наши военные операции.

Я более, чем когда-либо, убежден в этом.

За несколько дней до революции я уже сообщал вам, что решения недавно происходившей конференции были уже мертвой буквой, что беспорядок в военной промышленности и в транспорте возобновился и еще усилился и пр. Способно-ли новое правительство быстро осуществить необходимые реформы? Оно искренно утверждает это, но я несколько этому не верю. В военной и гражданской администрации царит

уже не беспорядок, а дезорганизация и анархия.

Становясь на самую оптимистическую точку зрения, на что можем мы рассчитывать? Я освободился бы от большой тревоги, если бы был уверен, что войска на фронте не будут заражены демагогическими крайностями и что дисциплина будет скоро восстановлена в гарнизонах внутри империи. Я еще не отказываюсь от этой надежды. Хочу также верить, что социал-демократы не предпримут непоправимых шагов для реализации своего желания кончить войну. Я, наконец, допускаю, что в некоторых районах страны может произойти как бы пробуждение патристического одушевления. Все-таки произойдет ослабление национального усилия, которое и без того было уже слишком анемично и беспорядочно. И восстановительный кризис рискует быть продолжительным у расы, обладающей в такой малой степени духом методы и предусмотрительности“.

Отправив эту телеграмму, я выхожу, чтобы побывать в нескольких церквях: мне интересно видеть, как держат себя верующие во время воскресной обедни с тех пор, как имя императора упразднено в общественных молитвах. В православной литургии непрерывно призывали благословение божие на императора, императрицу, цесаревича и всю императорскую фамилию; молитва эта повторялась поминутно, как припев. По распоряжению святейшего синода молитва за царя упразднена и ничем не заменена. Я вхожу в Преображенский

собор, в церковь святого Симеона, в церковь святого Пантелеймона. Везде одна и та же картина: публика серьезная, сосредоточенная, обменивается изумленными и грустными взглядами. У некоторых мужиков вид растерянный, удрученный, у многих на глазах слезы. Однако, даже среди наиболее взволнованных я не вижу ни одного, который не был бы украшен красным бантом или красной повязкой. Они все поработали для Революции, они все ей преданы, и все-таки они оплачивают своего „батюшку-царя“.

Затем я отправляюсь в министерство иностранных дел.

Милюков говорит мне, что он вчера говорил со своими коллегами о формуле, которую надо будет включить в ближайший манифест Временного Правительства, относительно продолжения войны и сохранения союзов. И смущенно прибавляет:

— Я надеюсь провести формулу, которая вас удовлетворит.

— Как? Вы надеетесь?... Но мне нужна не надежда: мне нужна уверенность.

— Ну, что же? Будьте уверены, что я сделаю все возможное.. Но вы не представляете себе, как трудно иметь дело с нашими социалистами. А мы прежде всего должны избегать разрыва с ними. Не то—гражданская война.

— По каким бы мотивам вы не падали неистовых из Совета, вы должны понять, что я не могу допустить никакой двусмысленности на счет вашей решимости сохранить ваши союзы и продолжать войну.

— Доверьтесь мне!

Милюков, впрочем, кажется, менее оптимистичен, чем вчера. Известия о Кронштадте, Балтийском флоте

и Севастополе, плохи. Наконец, на фронте беспорядки; были случаи убийства офицеров.

После полудня я иду погулять на Острова, более заброшенные, чем когда-либо и совсем еще занесенные снегом.

Припоминая свой утренний обход церквей, я задумываюсь над странным бездействием духовенства в Революции; оно не играло никакой роли: его нигде не видели; оно не проявило себя никак. Это воздержание, это исчезновение тем более удивительно, что не было торжества, церемонии, какого-либо акта общественной жизни, где церковь не выставляла бы на первом плане своих обрядов, костюмов, гимнов.

Объяснение напрашивается само собой, и для того, чтобы формулировать его, мне достаточно было бы перелистать этот дневник. Во-первых, русский народ гораздо менее религиозен, чем кажется: он, главным образом, мистичен. Его беспрестанные крестные знамения и поклоны, его любовь к церковным службам и процессиям, его привязанность к иконам и реликвиям являются исключительно выражением потребностей его живого воображения. Достаточно немного проникнуть в его сознание, чтобы открыть в нем неопределенную, смутную, сентиментальную и мечтательную веру, очень бедную элементами интеллектуальными и богословскими, всегда готовую раствориться в сектантском анархизме. Надо затем принять во внимание строгое и унижительное подчинение, которое царизм всегда налагал на церковь и которое превращало духовенство в своеобразную духовную жандармерию, действующую параллельно с жандармерией военной. Сколько раз во время пышных служб в Александро-Невской лавре или Казанском соборе я вспоминал слова Наполеона I: „Ар-

хи епископ это — полицейский префект“. Наконец, надо принять в расчет позор, которым в последние годы Распутин покрыл святейший синод и епископат. Скандалы преосвященного Гермогена, преосвященного Варнавы, преосвященного Василия, преосвященного Питирима и стольких других глубоко оскорбили верующих. В тот день, когда народ восстал, духовенство могло только безмолвствовать. Но, может быть, когда наступит реакция, деревенские батюшки, сохранившие общение с деревенским населением, снова заговорят.

Мне передали вчера, что акт отречения императора был составлен Николаем Александровичем Базили, бывшим вице-директором кабинета Сазонова, который в настоящее время управляет дипломатической канцелярией главной квартиры; акт был якобы передан по телеграфу 14 марта из Пскова в Могилев, следовательно еще до того, как комиссары Думы, Гучков и Шульгин, покинули Петроград. Тут вопрос истории, который интересно было бы выяснить!

А сегодня, в конце второй половины дня, мне сделал визит Базили, которого генерал Алексеев прислал с поручением к Временному Правительству.

— Ну, что же, — говорю я ему, — так это вы, оказывается, составили акт отречения императора?

Он восклицает, сделав энергичное движение:

— Я отнюдь не считаю себя автором акта, который подписал император. Текст, который я приготовил по приказу генерала Алексеева, сильно разнился от этого.

И вот что он рассказывает мне:

— Утром 14 марта генерал Алексеев получил от председателя Думы Родзянко телеграмму, извещавшую его о том, что правительственные учреждения перестали функционировать в Петрограде и что единственное

средство избежать анархии—добиться отречения императора в пользу своего сына. Страшный вопрос встал тут перед начальником штаба Верховного Командования. Не грозило-ли отречение царя расколоть или даже разложить армию? Надо было немедленно объединить всех военачальников вокруг одного решения. Генерал Рузский, главнокомандующий северного фронта, уже энергично высказался за немедленное отречение. Генерал Алексеев лично склонен был к такому же выводу, но дело было такое серьезное, что он счел долгом опросить по телеграфу всех других главнокомандующих: генерала Эверта, генерала Брусилова, генерала Сахарова и великого князя Николая Николаевича. Они все ответили, что император должен отречься в кратчайший срок.

— Какого числа у генерала Алексеева были в руках все эти ответы?

— 15 марта утром... Вот тогда-то генерал Алексеев поручил мне сделать ему доклад об условиях, при которых основные законы империи разрешали царю сложить власть. Я скоро подал ему записку, в которой я заявлял и доказывал, что, если бы император отрекся, он должен был бы передать власть своему законному наследнику—царевичу Алексею. „Я так и думал,—сказал мне генерал. Теперь приготовьте мне поскорей манифест в этом смысле“. Я скоро принес ему проект, в котором я развил, как мог лучше, мысли моей заметки, все время стараясь выдвинуть на первый план необходимость продолжать войну до победы. При начальнике главного штаба был его главный сотрудник, его верный квартирмейстер, генерал Лукомский. Я читаю ген. Алексееву проект. Он прочитывает его вслух и безоговорочно одобряет. Лукомский тоже одобряет. Документ немедленно передается по телеграфу в Псков, чтобы

быть представленным императору... На следующий день, 15 марта, незадолго до полуночи, генерал Данилов, генерал - квартирмейстер северного фронта, вызывает к телеграфному аппарату своего коллегу из Верховного Главного Командования, чтобы сообщить ему решение его величества. Я как раз находился в кабинете Лукомского вместе с великим князем Сергеем Михайловичем. Мы оба бросаемся в телеграфное бюро, и аппарат начинает при нас функционировать. На печатной ленте, которая разворачивается перед нами, я тотчас узнаю свой текст... Возвещаем всем нашим верноподданным... В дни великой борьбы с внешним врагом и пр. Но каково же удивление всех нас троих, когда мы увидели, что имя цесаревича Алексея заменено именем Михаила. Мы с отчаянием смотрим друг на друга, потому что у нас является одна и та же мысль. Немедленное воцарение цесаревича было единственным средством остановить течение революции, по крайней мере, удержать ее в границах конституционной реформы. Во-первых, право было на стороне юного Алексея Николаевича. Кроме того, ему помогли бы симпатии, которыми он пользуется в народе и в армии. Наконец, а это было самое главное, императорский престол ни на минуту не оставался бы незанятым. Если бы цесаревич был объявлен императором, никто не имел бы права заставить его потом отречься. То, что произошло с великим князем Михаилом, было бы невозможно с этим ребенком. Самое большее, могли бы ссориться из-за того, кому предоставить регентство. И Россия имела бы теперь национального вождя... Тогда как теперь, куда мы идем?..

— Увы, я боюсь, что события скоро докажут, что вы правы.. Вычеркнувши имя своего сына в мани-

фесте, который вы ему приготовили, он бросил Россию в страшную авантюру.

Поговорив некоторое время на эту тему, я спрашиваю Базили:

— Видели вы императора после его отречения?

— Да... 16 марта, когда император возвращался из Пскова в Могилев, генерал Алексеев послал меня к нему навстречу, чтобы ввести его в курс создавшегося положения. Я встретил его поезд в Орше и вошел в его вагон. Он был совершенно спокоен; мне, однако, тяжело было смотреть на его землистый цвет лица и синеву под глазами. Изложив ему последние петроградские события, я позволил себе сказать ему, что мы в Ставке, были в отчаянии оттого, что он не передал своей короны цесаревичу. Он ответил мне просто: „Я не мог расстаться со своим сыном“. Я узнал потом от окружающих его, что император прежде, чем принять решение, советовался со своим хирургом, профессором Федоровым: „Я приказываю вам,—сказал он,—отвечать мне откровенно. Допускаете вы, что Алексей может вылечиться“.— „Нет, ваше величество, его болезнь неизлечима“.— „Императрица давно так думает; я еще сомневался... Уже если бог так решил, я не расстанусь со своим бедным ребенком“... Через несколько минут подали обед. Это был мрачный обед. Каждый чувствовал, как сердце его сжимается; не ели, не пили. Император, однако, очень хорошо владел собою, спрашивал несколько раз о людях, входящих в состав Временного Правительства; но так как воротник у него был довольно низкий, я видел, как беспрерывно сжималось его горло... Я покинул его вчера утром в Могилеве и выехал в тот же вечер в Петроград.

Понедельник, 19 марта.

Николай Романов, как отныне называют императора в официальных актах и в прессе, просил у Временного Правительства: 1) свободного проезда из Могилева в Царское Село, 2) возможности проживать в Александровском дворце до выздоровления его детей, которые больны корью, 3) свободного проезда из Царского Села в Порт Романов на мурманском берегу.

Правительство дало согласие.

Милюков, от которого я получил эти сведения, предполагает, что император будет просить убежища у короля английского.

— Ему следовало бы, — сказал я, — поторопиться с отъездом. Не то неистовые из Совета могли бы применить по отношению к нему прискорбные прецеденты.

Милюков, принадлежащий немного к школе Руссо и будучи лично воплощенной добротой, охотно верящий в природную доброту рода человеческого, не думает, чтобы жизнь царя и царицы были в опасности. Если он желает видеть их отъезд, это скорее для того, чтобы избавить их от ареста и процесса, которые доставили бы много хлопот правительству. Он подчеркивает необычайную кротость, обнаруженную народом в течение этой революции, небольшое число жертв, мягкость, так скоро сменившую насилия, и пр.

— Это верно, — говорю я ему, — народ очень скоро вернулся к своей природной мягкости, потому что он не страдает и весь отдается радости быть свободным. Но пусть даст себя почувствовать голод, и насилия тотчас возобновятся...

Я цитирую ему столь выразительную фразу Реденера в 1792 году:

„Оратору достаточно обратиться к голоду, чтобы добиться жестокости“.

Вторник, 20 марта.

Манифест Временного Правительства обнародован сегодня утром.

Это—длинный, многословный, напыщенный документ, покрывающий позором старый режим, обещающий народу все блага равенства и свободы. О войне едва говорится: Временное Правительство будет верно соблюдать все союзы и сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить армии все необходимое для доведения войны до победного конца. Ничего больше. Я тотчас отправляюсь к Милюкову и говорю ему буквально вот что:

— После наших последних бесед я не был удивлен выражениями, в которых обнародованный сегодня утром манифест говорит о войне; я тем не менее возмущен ими. Не заявлена даже решимость продолжать борьбу до конца, до полной победы. Германия даже не названа. Ни малейшего намека на прусский милитаризм. Ни малейшей ссылки на наши цели войны. Франция тоже делала революцию перед лицом врага. Но Дантон в 1792 г. и Гамбетта в 1870 г. говорили другим языком... У Франции, однако, не было тогда никакого союзника, который скомпрометтировал бы себя для нее.

Милюков слушал меня очень бледный, совершенно смущенный. Подыскивая свои выражения, он возражал мне, что манифест предназначен специально для русского народа, что, впрочем, политическое красноречие пользуется теперь гораздо более умеренным словарем, чем в 1792 и 1870 гг. Тогда я прочитываю ему при-

зыв, с которым наши социалисты Гед, Санба и Альбер Тома обратились через меня к русским социалистам, и мне нетрудно дать ему почувствовать, какое горячее одушевление, какая энергия решимости, какая воля к победе слышатся в этом призыве ¹⁾.

Милюков, повидимому, страдающий душой, пытается привести, по крайней мере, смягчающие обстоятельства: трудность внутреннего положения и пр. И в заключение говорит:

— Дайте мне время!

— Никогда время не было дороже, действие неотложнее... Не сомневайтесь в том, что мне очень тяжело говорить так с вами. Но момент слишком серьезен, чтоб придерживаться дипломатических эвфемизмов. Вопрос, который пред нами встает или, вернее, нас гнетет: да или нет, хочет-ли Россия продолжать сражаться бок-о-бок со своими союзниками до окончательной и полной победы, оставаясь верной принятым обязательствам, без задней мысли... Ваш талант, ваше

¹⁾ Текст телеграммы г.г. Жюль Гед, Санба и Тома г. Керенскому, министру юстиции Временного Правительства:

Париж, 18 марта 1917 г.

Мы адресуем министру-социалисту обновленного русского государства наши поздравления и братские пожелания.

Мы с глубоким волнением приветствуем вступление рабочего класса и русского социализма в свободное управление их страной.

Еще раз, как нашим предкам великой Революции, вам предстоит обеспечить одним и тем же усилием независимость народа и защиту родины.

Войной, доведенной до конца, героической дисциплиной солдат-граждан, влюбленных в свободу, мы должны разрушить последнюю и одновременно самую страшную твердыню абсолютизма: прусский милитаризм.

Мы призываем здесь, с радостной уверенностью, к новому усилию русский народ, напрягший все свои силы для войны. Именно победа, которую мы завоеваем завтра своим энтузиазмом, дав мир миру, в то же время навсегда утвердит его преуспеяние и свободу.

Жюль Гед, Марсель Санба, Альбер Тома.

патриотическое и почетное прошлое служат мне гарантией в том, что вы скоро дадите мне ответ, которого я от вас ожидаю.

Милюков обещает мне поискать в ближайшем будущем случая вполне успокоить нас.

Пополудни я отправляюсь погулять в центр города и на Васильевский остров. Порядок почти восстановлен. Меньше пьяных солдат, меньше шумных абн, меньше автомобилей с забронированными пулеметами, переполненных иступленными безумцами. Но повсюду митинги на открытом воздухе или, лучше, на открытом ветре. Группы немногочисленны: двадцать, самое большее тридцать человек, — солдаты, крестьяне, рабочие, студенты. Один из них взбирается на тумбу, на скамью, на кучу снега и говорит без конца с размахистыми жестами. Все присутствующие впиваются глазами в оратора и слушают с каким-то благоговением. Лишь только он кончил, его заменяет другой, и этого слушают с таким же страстным, безмолвным и сосредоточенным вниманием. Картина наивная и трогательная, когда вспоминаешь, что русский народ веками ждал права говорить.

Прежде, чем вернуться домой, я еду выпить чаю у княгини Р., на Сергиевской. Красавица г-жа Д. „Диана Удона“, в костюме тайер и собольей шапочке, курит папирсы с хозяйкой дома. Князь Б., генерал С. и несколько постоянных посетителей приходят один за другим. Эпизоды, которые рассказывают, впечатления, которыми обмениваются, свидетельствуют о самом мрачном пессимизме. Но одна тревога преобладает, одно же опасение у всех: раздел земли.

— На этот раз мы от этого не уйдем.. Что будет с нами без наших земельных доходов?

В самом деле, для русского дворянства земельная рента—главный, часто единственный источник его богатства. Предвидят не только легальный раздел земель, легальную экспроприацию, но насильственную конфискацию, грабеж, жакерию. Я уверен, что те же разговоры происходят теперь по всей России.

Но входит в салон новый визитер, кавалергардский поручик с красным бантом на груди. Он несколько успокаивает собрание, утверждая, с цифрами в руках.

— Чтобы утолить земельный голод крестьян,—говорит он,—нет надобности сейчас трогать наши поместья с удельными землями (девяносто миллионов десятин), с церковными и монастырскими землями (три миллиона десятин). У нас есть, чем утолять в течение довольно долгого времени земельный голод мужиков.

Все соглашаются с этими доводами; каждый успокаивается при мысли, что русское дворянство не потерпит слишком большого ущерба, если император, императрица, великие князья и великие княгини, церковь, монастыри будут безжалостно ограблены. Как говорил Ла Рашфуко, „у нас всегда найдутся силы перенести несчастье другого“.

Отмечаю мимоходом, что одна из присутствующих особ владеет в Волынской губернии помещьем в 300.000 десятин.

Вернувшись в посольство, я узнаю, что во Франции министерский кризис, и Бриан уступает свое место Рибо.

Среда, 21 марта.

Уже несколько дней ходил слух в народе, что „гражданин Романов“ и его супруга „немка Александра“ тайно готовили при содействии умеренных мини-

стров: Львовых, Милюковых, Гучковых и пр. реставрацию самодержавия. Поэтому Совет потребовал вчера немедленного ареста бывших царя и царицы. Временное Правительство уступило. Четыре депутата Думы Бубликов, Грибунин, Калинин и Вершинин выехали в тот же вечер в Ставку в Могилев с мандатом привезти императора.

Что касается императрицы, то генерал Корнилов отправился сегодня с конвоем в Царское Село. По прибытии в Александровский дворец он был тотчас принят царицей, которая выслушала без всякого замешательства решение Временного Правительства; она просила только, чтобы ей оставили всех слуг, которые ухаживают за больными детьми, что ей и было разрешено. Александровский дворец отрезан теперь от всякого сообщения с внешним миром.

Арест императора и императрицы очень взволновал Милюкова; он хотел бы, чтобы король Англии предложил им убежище на британской территории, обязавшись даже обеспечить их неприкосновенность; он просил поэтому Бьюкенена телеграфировать немедленно в Лондон и настаивать, чтобы ему ответили очень спешно.

Это последний шанс спасти свободу и, может быть, жизнь этих несчастных. Бьюкенен тотчас возвращается к себе в посольство, чтоб передать своему правительству предложение Милюкова.

После полудня, проезжая по Миллионной, я замечаю великого князя Николая Михайловича. Одетый в гражданский костюм, похожий с виду на старого чиновника, он бродит вокруг своего дворца. Он открыто перешел на сторону Революции и сыплет оптимистическими заявлениями. Я его достаточно знаю, чтобы не сомневаться

в его искренности, когда он утверждает, что отныне падение самодержавия обеспечивает спасение и величие России; но я сомневаюсь, чтобы он долго сохранял свои иллюзии, и желаю ему, чтобы он не потерял их, как потерял свои иллюзии Филипп-Эгалитэ. Во всяком случае, что касается прошлого, он морально старался открыть глаза императору на близкую катастрофу; он недавно даже имел мужество обратиться к нему со следующим письмом, которое он сообщил мне сегодня утром:

„Ты часто выражал волю вести войну до победы. Но неужели же ты думаешь, что эта победа возможна при настоящем положении вещей?

Знаешь ли ты внутреннее положение империи? Говорят ли тебе правду? Открыли ли тебе, где находится корень зла?

Ты часто говорил мне, что тебя обманывают, что ты веришь лишь чувствам твоей супруги. А между тем, слова, которые она произносит,—результат ловких махинаций и не представляют истины. Если ты бессилен освободить ее от этих влияний, будь, по крайней мере, непрерывно настороже против интриганов, пользующихся ею, как орудием. Удали эти темные силы, и доверие твоего народа к тебе, уже наполовину утраченное, тотчас снова вернется тебе.

Я долго не решался сказать тебе правду, но я на это решился с одобрения твоей матери и твоих двух сестер. Ты находишься накануне новых волнений. Я скажу больше: накануне покушения. Я говорю все это для спасения твоей жизни, твоего трона и твоей родины“.

Четверг, 22 марта.

Император прибыл сегодня утром в Царское Село.

Его арест в Могилеве не вызвал никакого инцидента; его прощание с офицерами, которые его окружали и из которых многие плакали, было банально, поразительно просто... Но приказ, которым он прощается с армией, не лишен величия:

„Я обращаюсь к вам в последний раз, столь дорогие моему сердцу солдаты. С тех пор, как я отказался от своего имени и от имени моего сына от русского трона, власть передана Временному Правительству, образованному по инициативе Государственной Думы.

Да поможет бог этому правительству повести Россию к славе и преуспеянию... Да поможет бог и вам, доблестные солдаты, защитить вашу родину от жестокого врага. В течение двух с половиной лет вы ежедневно выносили испытания тяжелой службы; много было пролито крови, сделаны были огромные усилия, и уже близок час, когда Россия и ее славные союзники общими усилиями сломят последнее сопротивление врага.

Эта беспримерная война должна быть доведена до окончательной победы. Кто думает в этот момент о мире—предатель России.

Я твердо убежден, что воодушевляющая вас безграничная любовь к нашей прекрасной родине не угасла в ваших сердцах. Да благословит вас бог и да поведет вас к победе великомученик Георгий“.

Возвращаясь после визита на Адмиралтейскую набережную, я прохожу по улице Глинки, где живет великий князь Кирилл Владимирович, и вижу, что на его дворце развевается.. красное знамя.

Пятница, 23 марта.

Бьюкенен заявил сегодня утром Милюкову, что король Георг, согласно с мнением своих министров,

предлагает императору и императрице убежище на британской территории; он отказывается обеспечить их неприкосновенность, но выражает надежду видеть их в Англии до конца войны. Милоков, повидимому, очень тронут этой декларацией, но грустно прибавляет:

— Увы! я боюсь, что слишком поздно.

В самом деле, со дня на день, я сказал бы, почти с часу на час, я вижу, как утверждается тирания Совета, деспотизм крайних партий, засилие утопистов и анархистов.

В виду того, что последние сообщения печати свидетельствуют о том, что в Париже питают странные иллюзии на счет русской Революции, я телеграфирую Рибо:

„Несмотря на величие фактов, совершившихся за последние десять дней, события, при которых мы присутствуем, по-моему, являются лишь прелюдией. Силы, призванные играть решительную роль в конечном результате Революции (например: крестьянские массы, священники, евреи, инородцы, бедность казны, экономическая разруха и пр.), еще даже не пришли в действие. Поэтому невозможно уже теперь установить логический и положительный прогноз о будущем России. Доказательством этого являются радикально противоречащие одно другому предсказания, которые я собрал от лиц, чья независимость суждения и ум внушают мне наибольшее доверие. По мнению одних, несомненно об'явление Республики. По мнению других, неизбежна реставрация империи в конституционных формах.

Но если ваше превосходительство готово удовольствоваться пока моими впечатлениями, которые насквозь проникнуты мыслью о войне, вот как мне представляется ход событий:

1) Когда придут в действие силы, на которые я только-что указал? До сих пор русский народ нападал исключительно на династию и на чиновничью касту. Вопросы экономические, социальные, религиозные не замедлят возникнуть. Это—вопросы страшные, с точки зрения войны, потому что славянское воображение, далекое от того, чтобы быть конструктивным, как воображение латинское или англо-саксонское, в высшей степени анархично и разбросано. Пока эти вопросы не будут решены, общественное мнение будет занято ими. А между тем, мы не должны желать, чтобы это решение было близко, потому что оно не пройдет без глубоких потрясений. Итак, нам приходится ждать того, что в течение довольно долгого периода усилие России будет ослаблено или ничтожно.

2) Готов ли русский народ продолжать борьбу до полной победы?—Россия содержит в себе столько различных рас и этнические антагонизмы в некоторых районах так обострены, что национальная идея далека от единства. Конфликт социальных классов тоже отражается на патриотизме. Так, например, рабочие массы еврей, жители прибалтийских губерний, видят в войне лишь бессмысленную бойню. С другой стороны, войска на фронте и исконное русское население нисколько не отказались от своей надежды и своей воли к победе. Если бы я подчеркивал свою мысль, чтобы выразить ее рельефнее, я склонен был бы сказать: „В настоящей фазе Революции Россия не может ни заключить мира, ни вести войны“.

Великий князь Кирилл Владимирович поместил вчера в „Петроградской Газете“ длинное интервью, в котором нападает на свергнутых царя и царицу:

„Я не раз спрашивал себя,—говорит он:—не сообщница ли Вильгельма II бывшая императрица; но всякий раз я силился отогнать от себя эту страшную мысль“.

Кто знает, не послужит ли скоро эта коварная инсинуация основанием для страшного обвинения против несчастной царицы. Великий князь Кирилл должен был бы знать и вспомнить, что самые гнусные клеветы, от которых пришлось Марии Антуанетте оправдываться перед революционным трибуналом, первоначально возникли на тонких ужинах графа д'Артуа.

Около пяти часов я отправляюсь к Сазонову в Европейскую гостиницу, где он уже три недели лечится от упорного бронхита. Я застаю его очень грустным, но не утратившим бодрости. Как я и ожидал, он видит в настоящих несчастьях России перст божий:

— Мы заслуживали кары... Я не думал, что она будет так сурова... Но бог не может хотеть, чтобы Россия погибла... Россия выйдет очищенной из этого испытания.

Затем он в суровых выражениях говорит об императоре:

— Вы знаете, как я люблю императора, с какой любовью я служил ему. Но никогда не прощу ему, что он отрекся за сына. Он не имел на это права... Существует ли какое бы то ни было законодательство, которое разрешило бы отказываться от прав несовершеннолетнего? Что же сказать, когда дело идет о самых священных, августейших правах в мире!.. Прекратить таким образом существование трехсотлетней династии, грандиозное дело Петра Великого, Екатерины II, Александра II... Какая слабость, какое несчастье!

Глаза его полны слез.

Вчера вечером гроб Распутина был тайно вынесен из склена в часовне, где он был погребен в Царском Селе, и доставлен в Парголово-ский лес, верстах в пятнадцати к северу от Петрограда. Там, посреди прогалины, несколько солдат, под командой саперного офицера, устроили большой костер из сосновых ветвей. Отбив крышку гроба, они вытащили из него труп при помощи жердей, так как не решались прикоснуться к нему руками из-за его разложения, и не без труда вытащили его на кучу дров. Затем, полив его керосином, зажгли. Сожжение продолжалось больше десяти часов, до самой зари. Несмотря на нестерпимо холодный ветер, несмотря на томительную продолжительность операции, несмотря на клубы едкого и зловонного дыма, вырывавшиеся из пылавшего костра, несколько сот мужиков всю ночь теснились вокруг костра, онемевшие, неподвижные, глядя с растерянным изумлением на святотатственное пламя, медленно пожиравшее старца-мученика, друга царя и царицы, „божьего человека“. Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом.

Изобревшие этот зловещий эпилог имеют предтечу в итальянском средневековье; ибо воображение человеческое не обновляет бесконечно форм выражения своих страстей и стремлений.

В лето 1266-е Манфред, незаконный сын Фридриха II, король - узурпатор обеих Сицилий, убийца, клятвопреступник, осквернивший себя симонией, еретик, запятанный всеми преступлениями, отлученный от церкви, погиб в бою с Карлом Анжуйским на берегах Калоры у Беневента. Его полководцы и солдаты, обожавшие его за его молодость, красоту, щедрость и обаятельность, устроили ему трогательные похороны на том

самом месте, на котором он испустил дух. Но год спустя папа Климент IV приказал возобновить против этого злодея, недостойного покоиться в святой земле, папскую процедуру анафемы и проклятия. По его приказанию, архиепископ Казенцы велел выкопать труп и провозгласил над этими неузнаваемыми останками беспощадный приговор, обрекающий отлученного аду: „In ignem aeternum judicamus...“ Служба совершилась ночью, при свете факелов, которые гасили один за другим до полного мрака, после чего разрозненные останки Манфреда были рассеяны по полю.

Эта трагическая и поэтичная сцена сильно взволновала современников; она даже внушила Данте одно из прекраснейших мест в „Божественной Комедии“. Поднимаясь на крупную гору чистилища, поэт видит тень молодого принца, которая приближается к нему, называет его по имени и говорит ему: „Я—Манфред, мои грехи были ужасны. Тем не менее, бесконечная благодать божья так необъятно велика, что она принимает всех, кто обращается к ней. Если пастырь из Казенцы, который был послан Климентом для охоты за моими костями, сумел бы узреть милостивый лик божий, мои кости покоились бы по сие время близ моста, у Беневента, под тяжелым камнем. Теперь мочит их дождь, обдувает ветер на берегах реки, на которых рассеяли их, потушив факелы, архиепископ со своими священниками. Но, на проклятье им, божественная любовь не так далеко изгнана, чтобы не могла вернуться, пока достаточно жива еще в нас надежда, чтобы зацвести последним цветом“.

Я хотел бы иметь возможность предложить эту цитату бедной заключенной царице.